

Райнер Мария Рильке

СОНЕТЫ К ОРФЕЮ



Алексей Пурин

**СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ**

Новый Орфей

Алексей Пурин

**СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ**

КНИГА СТИХОВ

Санкт-Петербург, 2000

Urbi

*Литературный альманах
издаваемый
Владимиром Саговским
пог редакцией
Кирилла Кобрин*

Выпуск двадцать седьмой



серия

Новый Орфей

(4)

**ББК 84. Р 7
П 91**

П 91

Пурин Алексей. Сентиментальное путешествие.
Книга стихов. — **Urbī:** Литературный альманах. Вы-
пуск двадцать седьмой. — СПб.: АОЗТ «Журнал
„Звезда“», 2000. — 104 с.

ISBN 5—7439—0066—X

Почтовые адреса редакции:

Россия, 198005, СПб., а/я 69;
Россия, 603043, Нижний Новгород,
проспект Кирова, 4, кв. 9, Кириллу Кобрину
E-mail: kobrin@sandy.ru

*Корректор Ф. Н. Аврунина
Компьютерное макетирование Н. П. Егоровой*

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 062572 от 15 июня 1998 г.

Издательство «Журнал „Звезда“»
191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 20.

Подписано в печать 03.03.2000. Формат 60х84/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6.5. Тираж 400 экз. Заказ № 14

Типография АООТ «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева».
195220, Санкт-Петербург, Гжатская, 21.

ISBN 5—7439—0066—X

© Алексей Пурин, 2000

(1)



Что греческим мужам Елена?
Им ночь и море хороши.
Прожив мгновенье, тает пена —
прообраз мысли и души.

Но мнит впотьмах живущий: псиша —
кости́ опустошенной шум,
двойкодышащая ниша,
где сохранится тщетный ум...

Плыви, от звездной сыпи ахай,
Ахилл! Во весь зрачок гляди
на прах, рожденный Черепахой, —
и паруса сравни с рубахой
на смертной, дорогой груди.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1)

I

В Венецию или Тоскану
махнуть мне хочется с тобой.
Раскину сказок лоск — и кану
в мечтаний омут голубой.

Там утро ветром голубиным
вздувает штору на окне —
и маячок горит рубином,
как нежность жадная во мне.

Там тяжелят карман дукаты
почти игрушечной страны...
Да-да, мы сами виноваты
в том, что незнатны и бедны!

II

Поехали, простясь со страхом!
Забудь литературный сор,
с его немецким прибабахом,
под стук колес и скрип рессор.

Любви веселая наука —
и пар лирический над ней...
Ей-ей, ни Бёклина, ни Штука —
всё тоньше, всё куда страшней.

Гляди, как жить свежо и ново
в одной из жутких паутин,
где пьёт всемирный Казанова
красу и молодость Мартин!

III

Дневной июльский взор нескромный
полузадернутых гардин
в библиотеке полутемной.
Тлен эльзевиров и альдин —

покой легенд: стада Адмета
и Ликомедова семья...
И страсти жаркая примета —
спроси, где запонка моя?

Скажи им, чтобы подождали...
Шел в комнату — и в рай проник...
Но помнишь эту жуть у Даля —
бежать по переплетам книг?

IV

Когда лежишь в полудремоте,
ладонью трепет полускрыв,
я жадно жду: вот-вот от плоти
души произойдет отрыв, —

и, вместе с плавящимся воском,
из уст дыханья райский пух
внезапным вылетит наброском
тех мест, где зрение и слух,

вкус, обонянье, осязанье
в огонь сойдутся голубой
всепоглощающего знания —
слиянья полного с тобой.

V

Но скоро — в скверике, в таверне,
ломаю ложечкой бисквит, —
о бытия прекрасной скверне
на миг забудем: удивит

Венеция — сладка для ока,
смешной ребяческий уют!
Прости хоть клюквенного сока —
здесь так: и любят, и дают.

И ты, напоминая кошку
замашками ушедших рас, —
взаправду или понарошку —
слепащих не отводишь глаз.

VI

Случившееся невозможней
(возьми нежнейшее из слов!),
чем тот, архангельской таможенной
Петру дозволенный улов.

Что те смущающие пятна
(жаль, не заехали в Турин!),
любовь, твержу, невероятна —
как смерть («Взгляни на этих Фрин!»),

как жизнь... А мы — уже в музее,
где сводит живопись с ума,
где верят зренью ротозеи...
Лишь я тоскую, как Фома.

VII

Тут — Тициановы молоки,
там — фурии с огромным ртом...
Какие перистые строки
сравнятся с камнем и холстом, —

и всё — с одушевленным телом,
с осуществившейся душой!..
Ты бело-белого на белом
оттенок видишь небольшой?

Смотри: двусмысленны кумиры
Поэзии — мне жаль ее:
мечты кончаются и лиры
к утру. И жизнь берет свое.

VIII

И вот, чудовище с пивною
тупой жестянкой в кулаке,
мешая хмель с немой виною,
на гниловатом поплавке

стою, обняв льняные плечи,
и вижу: жесты все — как в том
романе... Лидо недалече...
Что ищет он своим шестом

на дне?.. Бежим! Возьмем карету —
пусть тащится едва-едва...
И книг не надо! Разве эту —
под лапой каменного льва.



Cette pendule de Saxe...

Mallarmé

Часы саксонского фарфора,
у нас нашедшие приют,
в знак эмигрантского укора
тринадцать раз в двенадцать бьют...
Скажи, кто вслушивался раньше
в их транс? Кто странный их распрос
на допотопном дилижансе
сюда из Дрездена привез?

Сочти вопрос маниакальным,
но сколько зыбкой наготы
роится в омуте зеркальном,
в который смотрим я и ты
на грани судорожной дрожи? —
ах, там проявится сейчас
атлас венецианской кожи
и зной полузакрытых глаз...

И призрак старого дивана,
где с тем же трепетом, что мы,
сплетаются телами рьяно
населники земной тюрьмы —
в неразрешаемой шараде
среды причинных паутин...
О, жизни! — лишь змейка пряной пряди
и неги призрачной притин...



С безумным риском, хоть без толку,
ты звук, сознанием налитой,
как вышивальщица иголку,
несешь, зияя немотой.
Банальной инфузорий в капле
обжито тайны остриё —
но боль двужильная смогла б ли
преодолеть ушко ее?..

Опомниться? Остановиться?
До эсперанто обрусеть!..
Плетет слепая кружевница
христовительную сеть.
Но ты — лишь младший соблазнитель,
миражеделатель пустынь:
с презрением отвернется Зритель
от паутин твоих. Остынь!

Не ткань, но боговдохновенье
родит туринское пятно.
Ты ж и морского дуновенья,
увы, не ловишь в полотно, —
а только ткешь тщету из мрака.
И как бы ни были нежны
твои холсты, они — Итака,
нежизнь безвременной жены.



Вспомним, Бозио, скифские тени
венецийско-тосканских обид:
луч сенинкой играет в тристене,
дремлет вилла, соломинка спит,
злая жизнь за заветным порогом
превращается в мраморный сон —
и собачьим упряжкам, пирогам
доверяет дочурок Аон.

Но давно источился и сломан
европейского века хребет,
и никчемн бессолнечный гномон —
утонувший в снегах Мусагет.
В мраке гиперборейского рая
остроласковый лавр на виски
нам возложит, и та — догорая,
только Бозио — муза Тоски.



Морозный Рыбинск не разбудит
Евтерпу в кварцевом гробу —
и только даром горло студит
Архангельск, дующий в трубу.

У чукчей нет Анакреона,
зырянам хватит и Айги.
Но кто метрического звона
придаст стенаниям пурги?

Кто наш, хмельной от шири водной
и хищный от смешенья рас,
российский мрак порфиородный
вольет в магический алмаз?

Напрасно ль северные реки
прекрасней всех паросских роз?..
Но вот путем из грязи в греки
скользит полозьями обоз.

Он «Рифмотворныя Псалтири»
тоской нагружен и треской.
И раздвигает тьму всё шире
заря — багряною рукой.

БАБОЧКА

I

Евтерпа, бабочка, рампеткой и тебя
пленили наконец! У прозы
камены не было — платочек теребя,
сквозь слезы, с завистью на все метаморфозы
глазела лирики: вот повезло сестре!

Смотрела косо,
как ритмы с рифмами сплетаются в игре
неплодоносного Лесбоса.

И вдруг таинственный живой цветок пророс
среди чухонского мороза —
не сон Новалиса, не медный купорос,
но — полусирин-полуроза.

Воистину, страна чудесная, он — твой
(где тверже Реомюра стилос!):
кроилось крылышко чертой береговой,
иглой блистающей чертилось.

II

И к радости моей, с трещоткою ни Фромм,
ни Фрейд не забредал в прохладный
магический объем над невским серебром —
чернильницы, что бред, громадной.

Не лечится душа. От санитарных стран,
от голубого лабрадора
торопится она, как тленный Монферран,
под сень бездонного собора.

Не сны я на земной язык переведу,
но невозможность осязанья.

Пусть память роется в младенческом бреду
потустороннего зиянья;
пронзенная иглой, пусть ночь лежит ничком
в дневном беспомыслии широком...

Но нет в Прекрасном встреч с банальным Стариком
и костюмированным Роком.

III

Где, — спросишь, — Благодать? — Она живет внутри
огромных траурниц, смеживших переплеты.

Возьми одну в ладонь — и, как пыльцу, сотри
пыль ежесуточной заботы!

Ажурно-нежива (не говори: «мертва»),
она лишь оторопь иного

пространства — лучшего, где утлые слова
сливаются в пределе в Слово.

Так вслушайся тоской одушевленных сил
в то, что твердит тебе бумага:

«Я куколкою стал и гусеницей был,
но образ чаемый — имаго».

И мне мерещится грядущей веры храм,
как бы начертанный харитой:

не шпиль язвительный, не выпуклый лингам,
но — вроде бабочки раскрытой.



Белый лист, Гиацинтового тело,
черновою душой наделен:
в делях собственных терний радела,
вырывалась из дольных пелен —
и, гляди, окрылась, полетела...
И бумагу кладет охладело
в кипарисовый гроб Аполлон.

Но содержит немая записка
в двуприродной чернильной крови
зов оленя и пение диска —
всё бессмертие смертной любви;
и ее написавший тоскливо
может стыть на ветру крутизны —
шелестя, дожидаясь прилива
чьей-то будущей голубизны.



Памяти Лидии Гинзбург

Словно бы — в песочнице, под хвоей
комаровской ясной и листвою...
Солнечный денек... Но что с того ей —
что золе печатный пряник твой?

Если есть душа — она далече,
ей нелепа вдумчивая речь...
Даром ли под идолами свечи
жжем и пеньем силимся отвлечь —

от натыканых в песок звездочек?..
Нестерпимо мысли, стыдно ей...
Но — безверья жадный поединок
с собственной Тоской?.. Еще стыдней!

Спи. Белесой девочкой незрячей
бродит Смерть: в руке — недорогой
пластиковый ящичек щеглячий
и сачок ребяческий — в другой.

1990, 1997

ЦАРКОСЕЛЬСКИЙ ВОКЗАЛ

Здесь змееволосая Медуза
под «гермеской»-каскай ужас кос
не таит — растущий, словно друза,
символизм последний, симбиоз
Полифема с прозой паровоза —
одноглазый уголь его горит...
Здесь грозит тройной угрозой поза
каждой из танцующих Харит.

И само пространство шестируко —
речи несгораемый ларец,
скорлупа, в которую упруго
шестикрылый тычется птенец...
Жизнь, как Откровение, раскрыта
и нова, таимое сокрыв,
но всё та же — вечный ребус Крита
и недоумения надрыв.

1993

КАЗАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ЦАРСКОМ

Золоченое выцвело слово.
И укус комариный припух...
О, когда бы ты знал — из какого
вырастает распада, лопух,
и каким невеселым обидам
служишь ты невесомым веслом —
сколок ангела, с полуотбитым,
но незримо несомым крылом!..

Или жизнь наша вроде валюты,
дабы лютый оплачивать счет —
одуванчиков блеклых салюты,
лебеды караульной почет,
эти рвы и руины, — и, роясь,
утешенья не выищет взгляд?..
Лишь, в махровой крапиве по пояс,
Кифареды из луков палат.

АНГЕЛЫ (ИЗ РИЛЬКЕ)

Какая-то грешная жалость
иль тайная горечь уста
кривит безутешным: досталась
пустая, как сон, чистота.

И, неразличимые, скопом
молчат они в райской тиши —
подобно глубоким синкопам
и паузам Божьей души.

Но стоит забывшейся Мощи
на миг отрешиться от грез —
трепещут, как вешние рощи,
как заросли шумных стрекоз.

И в эти мгновения мнится:
над хаосом бездн и пучин
Зиждитель листает страницы
спасительных Первопричин.

ЗВЕРИНЕЦ (ИЗ РИЛЬКЕ)

I. Пантера

а

Ее зрочки в затверженном кристалле
спит мимолетающий частокол —
так, что внутри заклятья этой стали
и вне его мир абсолютно пол.

Как маятник, движенья мышц упруги.
Танцующую кто заворожил
всю жизнь кружить в сужающемся круге
с безликой волей в средоточье жил?

Лишь иногда безмыслия с зеницы
слетит бельмо — и блик скользнет туда,
где Обликом он мог бы становиться,
но растворится навсегда.

б

Квадратом клетки предначертан путь — и
она твердит, не думая, его.
Гляди: нет никого в тысячепрутьи,
нет вне тысячепрутья ничего.

По прихоти неведомой упруга
гарцующая поступь. Но, скользя
вдоль спиц, исчислить квадратуру круга
нам — ни чутьем, ни разумом — нельзя.

Лишь со-вмещеньем проблеска с просветом
Ты, со-творивший зренье, дань берешь —
и со-страданье зреет в стыке этом,
рождая мышечную дрожь.

с

Что делать с телом абсолютно черным,
овеществившим домыслы в себе
философов, довлеющим упорным
кружением вечной тяжбе и борьбе

с Тем, Кто стоит незримо в центре круга,
ее шагов настраивая мах
на ритм сердцебиенья от испуга
или секундной стрелки, Кто впопыхах

незнанья пух прозрения к ab ovo
сдувает — всякий раз как повезло
гадающим: не спросишь часового —
добро он стережет иль зло.

d

Равно ослепли от дифракционных
видений утомленные глаза
двух кажимостей, равноудаленных
от подлинности, прячущейся за

двоякоотражающим зеркалом,
сливающим в прообразе одном
улыбку зверя с жалобным оскалом
той твари, что в зверинце площадном,

сжимая в пальцах палочку, по часу
подчас, листок терзает ею, — но
чудно поверить мыслящему мясу:
оно с немыслящим — одно.

II. Попугаи

Под турецкими липами, с опием их соцветий,
зачарованных ара баюкает в люльках клетей
ностальгический сон о забытой отчизне — ведь ей,
как и им, не очнуться от дремы пустых столетий.

Переливчато-яркие чистят свои наряды
так ретиво-старательно, словно их ждут парады.
И из ясписных клювов, луца семена, отрады
не найдя в них, роняют их вниз, ничему не рады.

Эти зерна в траве ищут голуби-побирушки.
А волшебные птицы, привычны к цепочек звяку,
то почти отрешенно неволи своей игрушки

теребят языками гадалок — стальные дужки
и колечки на лапках, то, от пустой кормушки
отвернувшись, качаются сонно — и ждут зеваку.

III. Фламинго

Их розовости и голубизне
пропета лесть не столько Фрагонаром,
сколь тем, кто, с вождедением и жаром,
разглядывает юношу, во сне

раскрытого, как роза поутру.
Вот и они цветут и пышут, стоя
на палевых стеблях; и Антиноя
ресницы вдруг взметнутся на ветру

среди жемчужных перьев, чьи овалы
у черенков черны и сочно-алы
(так мочке прядь нашептывает сны,

где борется бесстыдство с чистотою).
Но, жаждою чужой уязвлены,
они лишь отвернутся, став мечтою.

СВЯТОЙ СЕБАСТЬЯН

1

Он мышцы разметал, как спящий,
ресницы радужно смежил —
весь в предвкушенье предстоящей
Любви, в смятенье влажных жил.

Летающий, кажется он выше.
И безмятежно изнутри
тростинке острой шепчет псиша:
«Бери же, жадная, бери!»

На мураве его рубаха —
что перл на беличьем пуху.
А он — из золота и праха,
с пернатым трепетом в паху.

Трудна, Господь, Твоя работа —
и, хоть испарина сладка,
лоснится липко струйка пота,
стекая в «яблочко» пупка.

Но юный лучник ясноглазо
в сердечный целится сосок,
поскольку смерть — пустая фраза,
а день безоблачный высок.

Как на осу или занозу,
досадающий на стрелу
сквозь сон, он спит — взгляни на позу! —
он сном распластан по стволу?

Иль, в царство внутреннее зрящий,
весь — средоточие венца,
он — вроде Матери, кормящей
Единосушное Отца?

Жонглер, несущий шест с сервизом
во лбу смиреньем низких сил,
бывал таким нездешним бризом
обдут, тоски такой вкусил?

Нет, только ты — в наркозном, пьяном,
немом сновиденье стихов,
что было с этим Себастьяном,
узнал — и понял, Бог каков.

ЛЮТНИСТ

Безмолвной лютни голос сладок...
Кто б знал, когда б не нотный лист,
что греза генных неполадок —
лютнист. Вы слышите: лютнист!

Как «Страшного суда» огромность,
толпа смятеньем взметена:
зачем девическая томность
очам мальчишки придана?

Что ты наделал... Прямо в ад же
сейчас тебя определяют,
Михал-Архангел Караваджо,
за искаженный этот взгляд!

Оставь, пока еще не поздно,
возьми белила и замажь:
всё это, знаешь ли, — пастозно,
всё это — фокусы и блажь...

Но нет, не внемлет он грошовым
доброхотеньям с кондачка —
он тушит свет. И хорошо им.
Им — вроде скрипки и смычка.

ПОЛУНОЧНЫЙ ГОСТЬ

Вошел — и нагловатым взглядом
окинул с головы до ног.
Лавровый вряд ли бы венок
пошел к смешным его нарядам.

Какой-то велосипедист —
и уж, конечно, без кифары...
«Как все вы, — он промолвил, — стары», —
взглянув чуть искоса на лист.

«Но если хочешь...» — и горячей
ладонью мой прикрыл кулак.
«Хочу». И был пьяней малаг
наш сладкий труд, наш лов рыбачий.

И вот мы кончили в поту...
И я, полувернувшись к миру,
шепчу в немую пустоту:
«Не ты ли диктовал Шекспиру?»



«На Корфу, милые, на Крит
я улетаю», — говорит,
вперед на миг не видя, смертный.
А там, быть может, ничего
нет, кроме Бога, и Его
не выпить, как металл инертный.

Урок фригийскому царю!
«Давай поедem, — говорю,
забывшись, — в Царское в субботу».
И усмехаюсь: веселит
наш ум — потешный Гераклит,
входящий в золото, как в воду.



Никто! — но сложится певцу...

Баратынский

Кругом — ничто. Лишь слово золотое,
бесцельное мерцает в пустоте...

«Кто любит мертвых?» — спросят. Да Никто и
я! Тени восприимчивые те
отрадней и родней оратая живого.

И перед саваном зимы
на мед прижизненно накопленного слова
печальная пчела надеется — и мы...

Но скажут: «То — мираж безрадостной пустыни».

Да, как монету ни верти,
решетку и орла на выданном алтыне
уму вовек не развести.

Кто ведает закон? И Моисей, не зная
его, следит с небес, сомнением объят,
за Беженцев семьей, стремящихся назад —
в Египет, пустошью Синая.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Бог сохраняет всё. А ты,
художник, презирай архивы —
зане пусты и суетливы
наполненные тайной рты.
И не полночное письмо
твое дурней болиголова,
а — страшно вымолвить — само
всепожиряемое слово.
Так пусть заботится о нем
та/тот, кто, мир сочтя романом,
на караул в Фонтанный Дом
спешит дежурным эккерманом.
А ты — в прокуренном углу —
терзай созвучья смыслов жестко...
Что́, что́ в них ветру и орлу,
что́ сердцу страстного подростка?!
Ты — царь, властитель Ничего,
Назон, затертый льдами в Лете:
за безъязыкого его
фракийцы рыб не ловят в сети.
Столетия за тебя в ответе?
Ничто не помнит никого.

Как путник мыслит о ночлеге
в непритязательной корчме,
мечтай, что рай и ты «еґеґі»
из косной тяжести суме-
ешь, что твой облик не из меди
тяжелолоубой отольют,
что те птенцы — аз, буки, веди —
тебя, истлевшего, споют.

Не усыхающее слово,
но Нечто, пойманное им,
хранит Овидия живого
и станет домиком твоим —
окутанным глухими снами,
почти невидимым отсель,
где ты беседуешь не с нами,
а с покидающим Марсель
и с отвергаемым Леилой,
смывая зримые черты
с созвездий, выстроенных силой
непоправимой правоты.

За морем Мраморным есть мраморное море.
Там устье дикое зимой в тиски снегов
и льдов заковано, там воины в дозоре
с недоумением на редких рыбаков
глядят, чей труд сродни труду каменотеса
или старателя. И конная орда
туда — косматая и буйная, как проза
в сравненье со стихом, — стекает иногда
из северных степей. Там, там в пургу не знает
наместник цезарев, где римскому лежит
предел владычеству! Там жемчуг умирает —
и варвар по морю, как посуху, бежит,
гонимый ужасом, под Марсиевой флейты
напев безрадостный... Богов благодаря,
из жизни вечное творящий, пожалей ты
собрата, пишуший, — фригийского царя,
с Иовом схожего! — в краю окаменелом,
где ночи лунные ясней, чем волчьи дни,
где пусть не золотом, но мрамором и мелом
становится питье, лишь руку протяни,
где, зачарованный оплошностью облыжной,
и вьюжной дудочкой, и посвистом татар,
Овидий видит сны, под царской шапкой лыжной
скрывая стыдный свой, божественный свой дар.



Аквилон ли дышит в мехах, борей —
безразлично стонущим ребрам рей,
если мы сумеем поставить каждый
парус так, чтоб мчало нас даже зло
к Божеству, — а нет, мы возьмем весло,
среди вод несметных палимы жаждой!

Пусть кораблик утлый, пустой орех,
над пучиной гонят соблазн и грех —
нет иного способа как во благо
обратить их, жадно впивая льном, —
и, как прежде стала вода вином,
станет Богом эта хмельная брага...

За соленым валом соленый вал
подымал нас к небу и волновал,
назревая светом тоски, мутнея, —
и в ресницах меркнул любимый взор
на одной из дьявольских Лысых гор...
но над ней Голгофы рыдали реи.

РОЖДЕСТВО

Гнилой Венеции ларец
хранит и золото и кости, —
и ты, кощунственный певец,
приют на острове-погосте
обрел, где залетейских вилл
теснится мраморная пена.
Спи! Спи, покуда Михаил
нас всех не вытрубит из тлена.

Вокруг лепная пустота —
оплот всемирной малярии...
Не знаю, верю ли в Христа —
скорее в первенца Марии,
в покой младенческого сна
под млечной тайнописью знаков,
в осла, в ночные имена
небочитателей и магов...

Но вновь потусторонний хор
гремит над замершим базаром, —
и вновь Каспар и Мельхиор
бредут вослед за Балтазаром.
И вижу (согласились те б
насельники седьмого круга),
что и картонный наш вертеп —
подарок Любящего Друга.



Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui...

Mallarmé

Расправит ли крыло морозной чистоты
крахмальный зимний день, распластанный над прудом,
взметая ввысь свои — непостижимым чудом
вобравшие ветра — недвижные холсты!

Нет, словно лебедь, он, не вверивший мечты
заоблачной стране, таит тоску под спудом:
не свил он песни ей, безмерным изумрудом
сияющей вдали от дольней пустоты.

Ах, он бы мог теперь, смертельного безверья
отринув спесь, объять неведомую даль,
да ледяной корой уже сковало перья.

Он — иней, он — иной, он — Лебедь, он — хрусталь,
достигший наконец прозренья и зиянья
в гордыне навсегда никчемного изгнанья.

(2)

ДОМИК В СААРДАМЕ

Государь сказал Пушкину: «Мне бы хотелось, чтобы король нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме». — В таком случае, — подхватил Пушкин, — попрошусь у вашего величества туда в дворники.

Разговоры Пушкина. М., 1929, с. 224

1

«Голландия есть плоская страна», —
сказал один. «Голландия скучна», —
сказал другой... Фасады вдоль причала
качались, что кораблики в порту,
двоясь... За теснотою высоту
широкая душа не примечала...

Глотни пивка и выкури гашиш —
и ощутишь, от погребов до крыш,
всю лютость мореходной вертикали:
не дом, а гроб для рослого Петра...
Когда б трудолюбивые ветра
из шлюза в шлюз еще перетекали!

И мнится: добродетели петит
вот-вот на крыльях мельниц улетит,
под шпильями соборов отобедав,
помахивая карточками вин...
Хотел бы знать, что б вымолвил Кальвин,
увидев миллион велосипедов!

Гляди: страна, плывущая, как флот,
от собственной телесности, оплот
бесцельности, церковный лупанарий,
к Дню Судному готова... но пока,
беря тебя в прищур ростовщика,
смирненно указывает на денарий.

Дома, которым лет семьсот,
теснясь, толпятся вокруг собора.
О чем гудящая Дебора
пророчествует сонму сот?

О чем шмели-колокола
трезвонят над кирпичной кручей —
здесь, где скудельный храм паучий
сеть цепких улиц оплела?

О том, что эти города —
лишь гнева вышнего мишени,
что не дождутся утешений
от Утешителя?.. О, да! —

горька религия вины,
чья обезличена обитель...
Скорее слушатель, чем зритель,
выходишь в шум из тишины:

Макдональд крутит карусель
в чаду греха, гашиша, мака...
Смешна шенгенская бумага —
всех скоро выдворят отсель!

Широкой натурой бахвалься, —
а всё ж на тебя неспроста
поддатые бюргеры Хальса
насмешливо смотрят с холста.
Сравни, если хочешь, с отарой
овец многолицый портрет, —
но всё же Голландии старой
таит он волшебный секрет:
блаженны поевшие плотно,
и ближние пьяным милей...
Пропитаны пивом полотна —
хоть выжми и в кружку налей.
Тут клонит довольство к участию,
неравенство здесь не пестро,
и мнится: притронуться к счастью
легко, словно к рюмке в бистро.

Литература — авантюра,
и лучше ею жизнь не трожь...
Но этот мальчик на Артюра
Рембо был здорово похож.

И мне хотелось стать Верленом...
Увы, слова, слова, слова!
Был лишь енейвер по колению
нам, понимающим едва

чужие речи... Вместо драки,
пальбы и снов на чердаке,
плясала девочка во мраке
с колечком маленьким в пупке —

Вермер, не более, картина,
одна иллюзия огня!..
Каналов темных паутина
влекла, опасная, меня...

И вот я жду теперь, когда же
он в грудь мне — *sans paroles*, без слов —
пальнет, приехав, из лепажа,
как должно пасынкам послов?

Нет, рана не была смертельной:
Бог взял голландского посла,
а дуэлянтов в жар постельный
волна злословья унесла.

(Давай кровавую разборку
переиграем в пять минут —
и новый мир, по Сведенборгу,
для Пушкина построим тут.)

Я вижу домик в Саардаме:
кровать, курящийся кальян
и нечто сказочное в раме —
о да, горячий Тициан! —

там зеркало для перламутра,
что с морионом заодно...
И, с петухами, входит утро
немой молочницей в окно.

Денек, как в Петербурге, хмурый —
и нет причины отплести
гнедую прядь от белокурой...
Он жив и счастлив! Не грусти.

Не холст — волшебное окошко
в тот мир, где сказочно легко.
Что зачарованная кошка,
смотрю на это молоко.

Зрачок расширен, разум сужен,
дух отдыхает от пелен, —
как будто лучшей из жемчужин
я, вместо мозга, наделен.

А рай, внедренный в короб полый,
похож на тот спящий зной,
когда ты мой, когда ты, голый,
во тьме целуешься со мной.

ПОЧТИ ЕГИПЕТСКОЕ ЛЕТО

1

Почти египетское лето:
в зените копится гроза.
А мне с фаюмского портрета
сияют темные глаза

сокровищами коптских копей.
Под крестным знаменем зениц,
что ратный мученик Прокопий,
копье я опускаю ниц.

Пресуществившегося хлеба
я смуглой корочкою пьян, —
и в клеть возлюбленного неба
не спрячет Диоклетиан.

Мне не темно в земной темнице.
И смерти нет, пока я твой,
пока в глазной тени хранится
лицо с дощечки восковой.

Люциферически прекрасны,
мгновенья гибнут на бегу.
И, словно Фауст, самовластно
любое выхватить могу —
сберечь волшебного романа
строку, губительный поток
пресечь... Но в пальцах Аримана
истлеет сорванный цветок.

А посему поползновенья
мои алхимии глупей —
не заговаривай мгновенья
и чашу поданную пей.
Ни выбора, ни «Или, Или!»
нет... Но читай, покуда жив.
Жди, чтобы книжечку закрыли,
надейся — спичкой заложив.

3

Еще дадут, коли попросим,
в объятьях трепет покачать.
Но опрокинутое восемь
свою смертельную печать
и тут пытается поставить,
как на разделанный филей...
Люблю всё суетнее: я ведь
едва ль мощи тебе милей.

Всё суеверней... Но, бывает,
мечта шальная веселит —
о том, что тайно созревает
внутри стареющих Лолит, —
и, подливая виски рьяно,
«когда же, — думаю, — уже?» —
над жадной строчкой Адриана
о нежной страннице — душе.

Ночные мучили качели,
и, мной усвоенный сполна,
ты весь был как виолончели
смычком точимая струна.

Тоски вместилище, не тело,
легчало мукой. Вместе с ним,
мое, тяжелое, летело
куда-то в небо, став одним.

И я, замороженный звуком,
мажорно зреющим в тебе,
был патриархом шестируким —
с незримым ангелом в борьбе.

Гляди, мои ладони в глине —
лепили пальцы райских птиц.
Я был, почти как Пазолини,
творцом ярчайших небылиц.

Для смальты и эмали плавил
невразумительный песок.
Катилось сердце — против правил,
переча солнцу — на восток,

к виденьям Смирны и Багдада,
в края запретного огня...
И вот седьмого круга ада,
я знаю, жажда ждет меня.

Но за насмешливые губы,
за очи полночи под стать,
за знойный шепот — почему бы
душе бессмертной не страдать?



Жара. Идешь — как будто в гору,
как бы сквозь вязкое стекло.
И Монферранову собору
от зноя тоже тяжело.

И столь телесен он, похожий
на полумертвого жука,
что ощущаешь влажной кожей —
сколь ноша Божия тяжка.

Не умножай ее тяжелой
душой — и смрадной, и хмельной!
Жалей. Пусть свой дредноут Ной
без нас над твердью зиждет голый.



«И эдемские кущи раздвину,
и от жадной печали замру —
старый мастер, ревнующий глину
к змею, яблоку, знанию, ребру...

Кто тебе подарил bestiарий —
самый первый и яркий букварь,
где из всех нарисованных тварей
только ты, мой прекрасный, — не тварь,

а повтор безграничной свободы —
но беспечный, не знающий зла?..
Кто хотел, чтобы времени воды
никогда не коснулись весла, —

чтоб лепная тоска идеала —
то, чем зеркало мнится творцу, —
не творила и не истлевала?..
Видишь, слезы текут по лицу».



Одинокий, себя именующий «Я»,
говорящий по-гречески и на иврите
из пылающих кущ, в недрах небытия
нам построивший дом — лишь сердца отворите! —
умножающий пищу и воду в вино
претворяющий, лечащий грех первородный
крестной мукой своею, кем сердце полно —
даже если бунтует мой ум несвободный, —
как сказать мне «люблю» — и Тебе и Твоим
сопечальникам — Осипу и Михаилу,
Иннокентию и Афанасию (им
есть число, но лишь Ты его ведаешь), силу
пересилившим смерти — и вечноживым?



**Жемчужная возня Буше и Фрагонара...
Но ближе к полотну подходит человек —
и глаз его в клубы сиреневого пара
манит Мане, слезит вокзальный дымный век.
Его зовут мазка извилины живые
(так смотрит Левенгук на живчика с хвостом).
Но пыль небытия, веревки бельевые —
не холст, не дрожь холста, лишь хаос за холстом.**

**Что нас влечет в чулан сквозь радужное сито —
всезнания соблазн, животная тоска?
Сливаются уста, и тело с телом слито,
и я не равен мне, и жажда велика
исчезнуть навсегда в безмысленном зазоре...
Но кто-то вновь и вновь нас за руку берет:
гляди, как хорошо трепещущее море —
и камешек, взгляни, скользит по глади вод!**

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

По траве, жарой примятой,
входим в рай земной — и вот
ясень, пихтой приобнятый,
ослепительно плывет.

Он, совсем как мальчик сильный,
в колкой ласке изнемог...
Спи, младенец — тис могильный:
ты — лишь радостный намек.

Спи, терновник: зол не знаю
за тобой. Лютей стократ,
сам себе напоминаю
я татарник, царь-мурат.

Ведь, волчком вцепясь, целую
жизни цепкую резню —
кровожадную, цепную
верность ревности храню.

Горячей, чем горный гравий
под аварскою арбой,
бейся, сердце, суйся к лаве
розовато-голубой, —

раз уж из грязцы и зноя,
слезной радугой лучась,
мира яблоко глазное
чудом создано на час, —

раз уж счастлив я, пропащий,
вкупе с сорною братвой
подле ног Твоих торчащий,
голос слушающий Твой.

(С АРАБСКОГО)

Вечные фабулы в ступе толочь,
течь, замирать — не дыша...
Речь хороша уже тем, что не прочь
ею забыться душа:
тысяча первая кончится ночь —
и не найдут палаша.

Опустошенная чаша, не плачь —
жала лишилась оса:
стал москательщиком праздный палач,
позатупилась коса
Смерти. Ни холоден день, ни горяч.
Чище стекла небеса.

Глянь: Аладин погоняет ослов,
смотрит Синдбад на отвес...
Больше не встретим заморских послов —
сказочно-страшных чудес.
Всё — с окончаньем магических слов —
смысл потеряло и вес.

НА ЗАКАТЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Ты поймешь, что страшного нет...

Гумилев

На приморской террасе сядь
и «спроси печеных лангуст»...
Трудно ангелам тут летать —
опредмеченный воздух пуст.
Беспокоит не Бог, а дождь.
Странно пахнут слова-слова
в пустоте, где Дафнина дрожь —
только полой славы листва.
Кипарис над пирсом завис —
грех ли кудри трепать ему?..
Нас спустили в люлочке вниз —
не расслышу я, не пойму:
от Ламарка ли эта весть,
или все же — от Марка... Но
вот и подано. Можно есть.
Хлеб как хлеб. Вино как вино.



Среди всеобщего безумия
и романтического смрада
душа, мучительная мумия,
еще звучащим крохам рада.

Пусть нас обманут с воскресением,
пусть жизнь — мишень в грошовом тире,
но летом кажется спасением
прохлада в блоковской квартире.

Сыграй-ка паиньку для папочки —
заученную роль сынишки:
надень концлагерные тапочки,
взгляни на умершие книжки!

Все ритмы в этом доме пропиты,
пропитаны все рифмы прахом...
Что нам с тобой осталось — опыты
соединенья «оха» с «ахом»?

Сличений знойное сокровище?
(И я ль не знаю жадный жар его!)
Но каждый новый Блок — чудовище,
которое кошмарней старого.

СЕНТЯБРЬ

Вот-вот реки ночной чернила,
напившись небом проливным,
затопят всё, что было мило
мне — или мнилось мне родным.

И жизнь моя, как лист кленовый —
безвольно-бледная звезда,
плывет во мрак, в ворота Новой
Голландии — куда, куда?..

Прощай, забег сердец олений!
Прощай, пожар, еще вчера
сжигавший страхи! Наводнений
стоит безлюбая пора.

И вся, что нас пленяла летом,
фотографическая мгла
теперь, заще姆лена пинцетом,
чернеет в ванночке дотла.

Весь снимок — липкая помойка,
где, измываясь надо мной,
захорошев от крови, Мойка
скользит пиявкой ледяной.



Ну, выпей пива — полегчает,
и мир покажется живым.
Пусть Мойка лодочку качает
проточным бризом дрожжевым.

Не хуже здесь, чем в Амстердаме.
И даже лучше, может быть, —
хоть акварель в гранитной раме
всё в море пробует уплыть.

Я, вместе с островом, отъеду...
Что ж, жить — такая ж благодать,
как вон тому велосипеду
в след шины шиной попадать...

Пиши роман, торгуй водярой,
люби сварливую жену...
а я за мир, простой и старый,
еще откупорю одну.

(3)

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (2)

Болонья

I

С голубизной вливаются в стекло
и звон церквей, и плеск над голубятней...
Октябрьским теплым утром мне понятней,
что варваров в Италию влекло.

Еще не скинув козлоногих шкур,
они играли грозью винограда,
и тешила их странная отрада
вина, и в грудь им целился Амур.

Так стали итальянцами — поправ
немые рукотворные кумиры,
чей дух вошел в их кровь и в их состав,

слив евхаристью с хором римских прав.
И я, вандал, здесь щедро трачу лиры
на граппу — перл вакхических отрав.

II

Пусть башни склонны падать — им упасть
не суждено, хоть в гулкие аркады
домов и не пернатые рулады
звучат, но тысяч мотоциклов страсть.

И в тыщи сот — от зноя, от дождя,
от недруга — упрятаны витрины, —
и ты гудишь, Болонья — рой пчелиный,
в Подесте мощном чуящий вождя!

Ты — в шлеме. Ты из северной страны
несешь на юг рунические знаки
и сумрачные каменные сны.

И голубь известь ест слепой стены.
И сквозь забрала видят мир, во мраке
глазниц тая огонь, твои сыны.

III

По вечерам здесь — карнавал и пир,
и театральный нравится мне норов:
в тебе сошлись десятки Эльсиноров —
тебя, Болонья, выдумал Шекспир.

Ты спрашиваешь, страстная: «То be
or not to be?» — аркадами играя...
Будь! Будь подобьем пасмурного рая —
пригубь, я умоляю, не губи!..

Увы, оруженосцы-травести
вверяют кудри пластиковым сферам —
и мотоциклы, мчащие карьером,
ревут «arrivederci» и «прости».

Флоренция

Что мне до статуй косных — то толпой
на площади стоящих, то попарно,
когда внизу мертвеет желтый Арно
и Старый мост попрам его стопой?

И мне претит, Флоренция, твой гной —
роман твоей истории бульварной
(и мистика, и заговор коварный),
и твой Давид с израненной спиной,

и все твои верховники — с тупым,
нелепо переломленным коленом,
задушенные бархатом и тленом,

и Рафаэль, бесстыдно льстящий им,
все всплески крыс речных твоих, все фрески
и кардинальский чепчик Брунеллески.

.....

Но колокольня Джотто, но шитье
резной стены, но мраморная кожа,
но живопись — чья дрожь, увы, дороже
всех шумных созерцателей ее?..

Какой сквозит бесчеловечный хмель
в ее нездешней радужной немоте,
достигшей сфер, где плоть, забыв о плоти,
в ночном зрачке яснее, Рафаэль!

(Из Пиндемонти)

В Европе хорошо. В Италии — тем боле.
Всего лишь век прошел — и нет чумазой голи,
по живописи нам знакомой нищеты
(Сильвестра Щедрина она живет холсты,
и ею Александр не брезговал Иванов):
не нежится босяк под сению платанов,
лелея в их тени крамольные мечты.

Но всё же, как у нас, с задержкой поезда
здесь трогаются с мест. А в Риме иногда
блевотиной пахнет — клошаров грязных стая
воспрянет из тряпья гнилого. И простая
меня утешит мысль: и нам не навсегда
отпущена тоски и дикости страда —
и лет через пятьсот она отступит, тая.

Рим

I

Под серпантинном дьявольских колонн
и мрамором слоноподобных арок
прошли века. Данайцев злой подарок,
ты, Рим, лежишь, упрочив склон о склон,

как общий череп вымерших когорт,
на пестрый мир пустотами глаза.
И временем всеядным Колизея
уже на четверть съеден черствый торт...

О, пусть прелаты стерегут твои
печатью запечатанные склепы:
мир кончится, когда из них рои

чудовищ выйдут — люты и нелепы
(двоих я Богослову бы назвал —
Калигула и Гелиогабал)!

II

Из цезарей мне нравится один —
прививший Риму трепеты Эпира,
но удержавший вожжи полумира —
от Финикии до британских льдин.

Ты сам — слиянье несложимых стран
и сплав божеств, вливающих в храмы, —
и мир не видел тоньше амальгамы,
чем ты, чужой ромеям Адриан.

Для старовера ты — презренный «грек»
(по-нынешнему — «жид» или «чурек»),
и смерть твою восприняли едва ли

не с радостью. И Клио учит: вот,
народам люб Нерон или Коммод;
а при тебе почти не убивали.

III

В рай не зайти, как в папские сады, —
лишь очерк вижу с купола Сан-Пьетро,
не слыша ни журчания воды,
ни шелестенья крон его от ветра.

А там, должно быть, каждый лепесток
неповторим, и в каждом водостоке
особенный родится голосок,
и ангелы за так дают уроки

ботаники и музыки... И тут
я вспоминаю «Отдых» Караваджо —
и сладостные образы цветут...

И было б странно, если б *эта* жажда
не утолялась там, где всякий лист
не схож с другими, хоть блаженно чист.

IV

И ночью здесь толпа, но заглушен
минутный гомон шумом вечной влаги.
Фотографируются бедолаги —
и плеск монетки брошенной смешон.

Здесь несколько столетий длится прятная
непрочной жизни с каменной пеной —
с разбуженной копытом Ипокреной,
и лирами и брызгами соря.

За вспышкой — вспышка и за бликом — блик:
японцы, немцы, сонмища калик,
хорошенький солдатик жметя к деве —

о, эта жизнь, ярчайшая из книг!..
Но только ты — непреходящий миг,
бушующий в своем покое Треви.

Равенна

I

Всё время кажется, что море
вот-вот увидим за углом,
но в солнечном, в курортном взоре
уже давно не плещет гром.

Пустынна сонная Равенна,
как будто жители на пляж
ушли... увы, и море бренно —
и входит в перечень пропаж.

Или от Дантевой могилы
и гул стихии голубой
бежит? Здесь выжить хватит силы
японцам лишь да нам с тобой.

И тень певца навряд ли рада,
что тут почти Бахчисарай,
что ни чистилища, ни ада
нет — только выморочный рай.

II

«Потому и пусты саркофаги,
что цари, отряхнувшие прах,
растворились в сверкающей влаге
и парят в мозаичных мирах.

Не из кобальта, золота, хрома
создан мощно изогнутый щит;
он — плева, за которой — плерома:
там плывут мириады Плакид.

Он пленительней сладостной плоти,
шире всех представимых щедрот —
этот, рай отверзающий в гроте
и бессмертием дышащий, свод:

в топком бархате звездного луга,
где пасутся и агнец и конь,
не страшит никакая разлука,
ибо сам он — Христова ладонь...»

Но, завидуя искренней вере,
я спохватываюсь — не лги! —
вспоминая тебя, Алигьери,
и твои ледяные круги.

III

Ягненок льнет к Его ладони,
и пьет из чаши голубок,
и по траве гуляют кони...
И молод Человекобог —
еще земной и безбородый...
Но маги в красных колпаках
уже несут ларцы — с природой
Его божественной — в руках...
Всё — весть благая для всезнаек:
и крест, и смерть... И Он с тоской
глядит сквозь марево мозаик
на спасенный род людской.

Венеция

I

Подозреваю, что в раю
есть указатели «К Сан-Марко»,
и дождь, и шар, парящий ярко,
и винт, вплетающий струю
в блаженство, налитое всклянь, —

и там не поздно и не рано,
как в стеклодувне на Мурано,
сушить лирическую ткань.

II

Плеск теплых волн и голубей
раз пять сменяется на Пьяцце
на дню. Тут нужно потеряться
и заблудиться. Хоть убей —
здесь, где дельфином Арион
над бездной зиждется коварной:
в парной градирне, в рифме парной
оставь — в просвете двух колонн.

III

Столбцы колонн, вторенья стоп
и вены пенные Киприды...
Не фотографии и виды,
но волн размеренный галоп.
Жизнь продолжается: гондон
плывет в резной тени гондолы.
И лоск венецианской школы
колеблет донный Посейдон.

IV

Здесь дождь уместен, здесь картин
не нужно в рамах и музеев.
Туда, где меньше ротозеев,
где моря плещется притин,
бреди (ты — из неисцелимых,
тебя и граппа не спасет) —
и там смотри, раскрывши рот,
на небо в серых серафимах.

V

Здесь голубые купола,
двоясь, рифмуясь, две стихии
соединяют, как стихи и
двойник ленивого весла;
и отплывают — еле-еле,
взяв призрак свой на абордаж.

И вот уже кораблик наш
причаливает к Сан-Микеле.

VI

Гляди, возлюбленная тень
впотьмах взошла на вапоретто
(здесь, как до разделенья света
и тьмы, еще не создан день,
но миг — и ловкий стеклодув
светило выдует из дыма),
и Та, чья мысль неуследима,
спешит ей вслед, стопы разув.

VII

Гнездовье сонных Аонид
и жизнелюбое кладбище,
ты — только выпивка, не пища,
ты — не оковы, а магнит.
Здесь выдуваются слова
и смыслы, слава дремлет в доке.
И в темные твои протоки
втекают Амстель и Нева.

VIII

Ты, если вдуматься, не страсть,
не смерть, не маска, не актрисы
грим... (Разве тонешь? Вот же крысы —
они уж не дадут пропасть!)
Ты, если вслушаться, — любовь,
но — в измеренье небывалом...
И легкий мостик над каналом —
над Вислой? — вскидывает бровь.

IX

Клад подростковых неудач
и утешительности старой
(чадя гавайскою сигарой,
в ладье качается богач —
под безголосость баркаролл
и весел медленные взмахи).

Характер здесь лежит на плахе,
и море сглаживает пол.

Х

Двусреднодышащий инь-янь,
томленьем сцепленный Риальто,
ты тешишь глаз не так, как смальта,
но как слеза, уже за грань
стекая страстного земного;
и кажется: прикрой окно —
исчезнет сновиденье... Но
мы в нем, даст Бог, очнемся снова.

Эпилог

За день один соединить
три лучших города на свете! —
так ртуть живую ловят в сети
и бисер скрадывает нить.

Венецианское стекло,
и чуть темнее — в Амстердаме;
но та же мгла — в осенней раме —
и желть, и морось, и весло.

И в Петербурге моросит...
Мы как в магическом кристалле!
А коль дивиться не устали,
то гибель Музе не грозит.

Райнер Мария Рильке

СОНЕТЫ К ОРФЕЮ

перевод с немецкого

и примечания

алексея пурина

*Написаны как надгробие
для Веры Оукамы-Кнооп
Шато де Мюзот, февраль 1922*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

И дерево росло, одолевало
высь — пел Орфей! Тянулся слух, как ствол.
А мир молчал. Но новое начало
и форму он в молчании обрел.

Спешили звери просветлевшей чащей
от хитрых нор и пасмурных берлог,
еще не постигая, что увлек
их не инстинкт, как прежде, а слепящий

нездешний звук, в сердца вошедший; вой
и рев уже не бередили уха —
как если б средь стремнины теневой,

где нет убежищ для земного духа
от темных вожделений, голос твой
незримый храм возвел в глубинах слуха.

II

Почти дитя, она произошла
от счастья единенья лиры с пеньем,
и, окрылясь их вешним дуновеньем,
в моих ушах пристанище нашла —

и спит во мне. И всё есть в чистом сне:
сады, давно мной чаемые, эти
лепные дали, нивы — все на свете
земные дива, мнившиеся мне.

Она спит мир. И ты, в ней обрета
глаза, не разбудив, ее счастливо
родил, бог певчий, — с легкостью, шутя.

Но смерть?.. О, как мотив нетерпеливо
спешит к исчезновению мотива!..
Как удержать его?.. Почти дитя...

III

Лишь бог и мог. Но как, минутным, нам,
нам, чувственным, последовать за тенью
сквозь струны лиры? В солнечном сплетенье
не предначертан Аполлона храм.

Напев — не страсть, ты учишь, не закон
условный, не алчба конечной цели;
петь — значит *быть*. Для бога — в самом деле.
Но что напев для нас, коль движет он

над нашим *быть* светил небесных сферы?
Не *то*, что мнят в нем юноши, когда
им голос жизни горло рвет: химеры

земной любви пройдут — и навсегда.
Иные у неложного размеры —
дыханье в боге, вздохи в никуда.

IV

Вы, о, нежнейшие, в том дуновенье,
в этом дыханье, что вслед вам летит,
щеки вам нежит, делясь, на мгновенье
лишь задержитесь — и вздох снова слит.

Вы, о, блаженные, вы — просветленье:
чистый исток в вашем сердце открыт, —
лук, и мишень, и стрелы оперенье;
вечной слезою улыбка блестит.

И не страшитесь тяжести — впору
тяжесть земле, возвратите ей вес:
тяжеловесны и воды и горы,

вами возвращенный вздымается лес —
вам ли снести эту мощь?.. Но просторы,
ветры... Но своды безбрежных небес...

V

Плиты могильной нет. И снова роза
весной блаженно прозревает им.
Се есть Орфей. Его метаморфоза
не пресечется. Именем иным

не оскверный созвучий: не всегда ли
поет Орфей, когда поют? И он
уйдет в свой срок, на день-другой в печали
увядшей розы пережив бутон.

И погляди, в каком опять уроне
Орфей, какой певца сдает страх:
в то время как щебечет слово в кроне,

превосходя все здешнее, он — прах,
он — пленник лиры! Вслушиванья кроме,
нет благ ему в кружащихся мирах.

VI

Разве он здешний? Нет, в обе державы
мощно врастает его естество.
Пеньем вздымает он лозы и травы,
корни их волей ведомы его.

Стоит заснуть нам — питье наше, пища
ждут едоков; и идут мертвецы,
запах дымянки и руты в жилища
вносят. Но он, заклинатель, концы

сводит к началам, под веком сливая
здешнее с бывшим (и сложность живая —
проще сложенья, родней, чем лицо) —

в облик немеркнувший, в высшего слепок;
он — в наших спальнях, он — в наших склепах,
славящий кружку, застежку, кольцо.

VII

Славить и петь! И, как медь из плавильни,
из немоты он выходит воспеть
вечные гроздья в смертной давилне,
имя которой — сердечная клеть.

И ликование будет сквозь слезы
длиться, покуда он — божество:
всё претворится в гряды и лозы
под страстотерпным жаром его.

Не к саркофагов царственной гнили
обращено прославление — или
к прежних божеств помраченным теням.

Вестник, в воротах загробного мира
держит плоды он светлого пира
в чашах горстей, предлагая их нам.

VIII

Потому так лира ценит плачи —
точно нимфа слезного ручья,
сторожа паденья, неудачи, —
что от них легчает круча, чья —

в алтарях — вершина ей дорожке
дольних благ. — И Жалоба уже
наверху: она куда моложе
всех сестер и братьев по душе.

Радость *знает*, а Тоска винится, —
лишь она одна, как ученица,
по ночам твердит спряженья бед, —

но к утру, внезапно и нелепо,
свой девичий плач вздымает в небо,
и звезда блестит ему в ответ.

IX

Тот лишь, кто лиру вознес,
смертный, над тленьем,
быть ликований и слез
может хваленьем, —

тем лишь, кто мака вкусил
с мертвого луга,
хватит таинственных сил,
тонкости звука.

Как отраженный в воде
дважды нездешен —
здесь и нигде,

так и в природе двойной
голос земной
вечен и нежен.

X

Вам, сберегаемым в сердце, привет
шлю я, античные саркофаги,
полные римской струящейся влаги —
неуловимой, как пенье и свет.

Тот вон раскрыт изумленно, что глаз
бабочкой в поле разбуженной жницы:
пьющим зрачком он в лазури увяз —
радужный, словно дремота репницы.

Всем вам, избывшим сомненья и рта
не затворяющим, шлю я приветы, —
слышащим, что вам молчит немота.

Но для еще не уснувших у вас
есть ли, безмолвные братья, ответы?..
Тихий — и медлящий с выводом — час.

XI

Погляди на звезды. Имена их
скопищам — вот «Всадник» — кто дает?
Спесь земная? Да, но ведь иная
воля их вздымает и ведет.

Понукает ими, укрощает
норов, сухожилия причин.
Путь извилист, тем и обещает
новизну — и двое суть один.

Только *суть* ли? Будут ли моими
те дороги, что они пройдут
вместе, слив и «стол» и «луг»? Не имя

мы едим. Черты созвездий лгут...
Но пока хоть схемам мы невольно
верим, нам и этого довольно.

XII

Благ тот дух, что всех нас принял в сети:
схемами воистину живем.
И текут, спеша, минуты эти
наряду с доподлиннейшим днем.

Мы способны к верному обмену,
пусть и не прочитана скрижаль:
так антенна чувствует антенну —
и речет через пустую даль...

Напряженье, музыка усилий,
деланье рисковое! Не ты ли —
то, что все помехи пристыдит?

Ведают ли сеятель и семя,
что пожнут, когда настанет время?
Но земля им *дарит* — и родит.

ХІІІ

Яблоко, банан, крыжовник, грушу
пробует ребенок — и во рту
спрят жизнь и смерть. Я обнаружу
это по лицу его, прочту...

Для того ли вы вдали созрели,
чтобы кануть в нас, лишась имен?
Здесь, в родильне слов, одушевлен
станет плод — развоплотившись в теле.

Разве эта яблоком звалась
сладость и была неуязвимой?
Пробудясь во вкусе, вознеслась,

прояснилась, стала двуединой
в радости слиянья — и земной
и небесной, и тобой и мной.

ХІV

Бредем, держа цветы, плоды, лозу —
для них язык людской молчанья глуше.
Из бездн всплывает зримое, как суша —
из вод, храня ревнивую слезу

умерших — и крепка природа ею.
Известна ли нам участь их? Но род
их породнен с судьбой земных пород,
что их хребты крепят собой, коснея.

Не спрашивай: в охоту ль это им?..
Быть может, как рабы, весь мир вздымая,
они несут нас вверх — к богам своим?

А может быть, в глубинах спит иная
мощь — любящих *божественных* корней,
питая силой нас, таимой в ней?

XV

Жду, предвкушая... Готов хоровод.
Музыки чуть бы, топтанья, напева!
Девы немые, милые девы,
мерно станцуйте познанный плод —

вкус апельсина!.. Как бы утопая,
сочному ваш хоровод бытию
сопротивляется — но, уступая,
к сладости веру склоняет свою.

Танец в изгиб плодоносных пейзажей
преображает вас, знойно летит
ветром родимым; с испариной вашей

в нем аромат апельсиновый слит;
вас он, нагих, не смиряемых стражей
кожи, с разбуженным соком роднит.

XVI

Ты одинок потому, что... Вслась
тыча перстом и грозя словами,
мы как бы делаем мир весь нами,
а мы — лишь жалкая его часть.

С разумом разве сравнится нюх?
Но лучше нас ты темные силы
чуешь — опасности, дух могилы,
и на заклятья твой тоньше слух.

Добрый, косматый наш старший брат,
с кем и делить нам земную муку!..
Лишь не впускай нас в сердце — не рад

будешь: растя, не щадим мы прав.
Но можем бога *нашего* руку
честно направить: вот он, Исав.

XVII

В недрах — старец, исток
мира и корневище;
шлем, охотничий рог;
выше — тыщи и тыщи

мраком первопричин
смятых, замороженных:
ярость — в братстве мужчин,
лютни — в плачущих женах...

В ломкий лозняк сплелись,
стиснуты смертной чашей...
Кто-нибудь! Отзовись!..

Участь веток мрачна —
лирой только одна
изогнется звучащей.

XVIII

Слышал ли новость, бог, —
гулы, грохоты эти?
На голову всё с ног
словно стало на свете.

В новом мире едва ль
ухо чуткое — благо;
заклинает деталь
ныне камни, не сага.

На станок погляди:
он вальцует, торцует —
мстит, рубцует, лупцует

нас; без сердца в груди,
нас, ведомый, ведет;
наши силы крадет.

ХІХ

Мир этот, как облака —
беглый, свободный,
ищет века и века
облик исходный.

Но сквозь обман бытия,
зыби эфира
вечно, фракиец, твоя
плачет пра-лира.

Скорбь на земле велика,
смерть неисповедима,
да и любовь здесь — тоска:

вспыхнет — и мимо.
И только песня легка —
как облака.

ХХ

Какую в жертвенный твой огонь,
тварям игравший, мне бросить дань?
Быть может, эту: ночная рань
весной в России — и скачет конь...

Скакал он, белый, без седока
и волочил за собою кол —
в ночь и луга, где дымка легка, —
прочь от дремлющих сел.

Как билась грива о холку, как
кипел в крови его пыл,
когда он рвался в широкий мрак —

еще бы! — на волю плыл.
Он ржал и слушал: был *в нем* сплочен
круг речи...

Я посвящен.

XXI

Снова с сеньями и ласточкой сладу
нет — и опять наступает весна.
Юной земле-ученице награду
за прилежанье вручает она.

Строг был учитель. Но эти морщины,
льдины, седины нравились ей...
Спросим — ответит: шумом лощины,
зеленью, синью — пособий ясней!

Радуйся, вольная, резво играя
в стайке детей — эй, тебя запятнать?
Снова веселье ладится рая.

Что ж ей и делать, как не опять,
зная уроки, перепевая
древние корни, петь — уповать!

XXII

Пыль мы летящая.
Но времени шаг
берет и пустяк
в непреходящее.

Всё быстрое
мимо проходит; но
нами лишь вечное
освещено.

Мальчик, доблесть ищи
не на скрещенье
скорости и пращи.

Мир — покой, не полет:
самолета священной
книга, дерево, плод.

XXIII

О, *лишь* когда полет,
сам себе на потребу
взмыв к безбрежному небу,
упоенно сверкнет,

в вихрях трепетных рея —
прочен, легок и спор —
сотоварищ борея,
а не просто прибор, —

лишь когда аппарат,
сбив мальчишечье чванство,
канет в чистом «куда»,

он, не чая наград,
обретет те пространства,
где летит, навсегда.

XXIV

Дайте знак нам, боги великие: дружбы вашей
неужели, извечной, приходит упадок — или,
как и раньше, она, нерушимая, тверже, краше
стали и, закаленная в горечи, в прежней силе?

Но друзья могущественные, забирая
наших мертвых, ясных прикосновений
не дадут нам — ни трапез, ни омовений,
ни вестей из вашего, боги, края

больше нет. Мы длим ныне жизнь немую,
на себя оставлены; наши тропки
не меандр пленительный, а прямую

грубо чертят. И лишь в пароходной топке,
двига поршни, прежний огонь пылает —
вечный рок. Но силы пловец теряет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

О, дыханье, незримый стих!
Ты — челнок обновленья
мрежей мира. И жив — лишь пока не утих
твой ритмический плен — я.

Та волна, для которой
всемерное море — я,
ты бережливей всех зримых взморий,
ты — прирост бытия.

Сколько простора этого прогнано мной!
Был мне как сын
ветер иной.

Дунь же еще в меня, воздух, узнай меня снова!
Ты, ты один, —
клейкая дрожь и кора шелестящего слова.

II

Так же, как мастер в сложный рисунок
вносит случайно *истинный* штрих,
зеркало каждое утро в свой сумрак
прячет улыбки девичьи — их,

трепетных, вмиг похищая, когда
чисто лицо при молитвенном свете.
Лишь отраженья, не облики эти,
лицам оно возвращает всегда.

Да — и в мерцаньях каминного свода,
в меркнувших углях мы видим: во тьму
небытия исчезают мгновенья.

Кто же сочтет все потери, природа?
Лишь обращающий к сердцу — к тому,
что рождено в полноте, — восхваленя.

III

О, зеркала, вам еще не открыто,
в чем ваша суть. Вы — двери в иной
мир: вы — просветы прочного сита
и перебои шкалы временной.

И — мотовства пустотелого залы;
с вами ясней, как ширится дол, —
раз канделябр шестнадцатипальный
несопрягаемость эту прошел.

Вы, зачастую, точно холсты.
Кто-то, сияя, в вас протекает,
кто-то пугливо бежит пустоты.

Только красавица медлит — и из
черт ее, там, за стеклом, возникает
в чистом ничто растворенный Нарцисс.

IV

О, то был зверь, какому в мире быть
нельзя. И в изумленье всякий раз
немую стать, невидимый атлас
его им было суждено любить.

Хоть не *было* его, но так они
алкали, чтобы был он, дивный зверь,
и были столь пространствами полны,
что он входил сквозь них, как через дверь,

в наш мир. Они вскормили не зерном
его, а помышлением, вот так.
И был тот смысл в кормлении ночном,

что рог твердел и рос, пронзая мрак.
И, деву удивляя белизной,
он в зеркале белел — и в ней самой.

V

Лепестковый мускул анемона,
что с утра расцвечивает луг,
раскрывая чаши, дабы лона
их небес впитали свет и звук, —

мускул бесконечного обмена,
звучным изобилием и ты
вымотан с *избытком*, но измена
лепестков, скрывающих черты

гибели, их жажда возвращенья
в замкнутость к тебе обращены:
стольких ты миров раскрепощенье!

Мы ж, не так минутны и нежны,
где, в какой из жизней всевмещеньем
сможем стать таким же, быть полны?

VI

Ты, венценосная роза, в античном мире —
скромница с простеньким ободком,
нам предстаешь совершенством — нет вещи шире —
неисчислимо-сложным цветком.

Ты, в преизбытке, меняешь за платьем платье
на теле жалком, чтоб тешить взгляд;
но лепесток твой всякий бежит объятья —
и отрицает каждый наряд.

Дуновенье сладчайших имен
аромат твой несет из былого;
и во славу их зиждется он.

Но у нас нет понятий для них и звучаний...
И в него эти воспоминания снова
утекают — в незыблемый час величаний.

VII

Вам ли, цветы, не родня те прилежные руки,
девичьи, что на садовом столе
вас подрезают опять — неживых от разлуки
с почвой, от боли в нежном стебле, —

воду меняют, в которой еще раз очнуться
от подступающей смерти дано вам, — и вновь
в токах живительных рук ваши уста шевельнутся —
вы благодарны им за любовь,

легким и схожим, догадливым, за возвращенье
ваше в кувшин, — и чужое тепло
сходит с вас медленно, словно оно прегрешенья,

тронув, омыло и вам отпущенье дало,
словно, и в снятости вашей, хмелея и тая,
вы возрождаетесь, с ним заодно расцветая.

VIII

В память о Эгоне фон Рильке

Мало вас, милых друзей прошедшего детства
в мгле городских ущербных садов...
Как мы сближаемся, как мы выносим соседство
и, точно агнец с полоской слов,

как говорим мы, немые; и, если с нами
нам хорошо, не ведаем — почему?
Как утекаем вместе с людскими волнами,
с исчезновением лет во тьму?

Мимо нас мчится состав, чуждый нам и мгновенный,
нас обступают зданий призраки, — знаем ли мы,
что было подлинно во вселенной?

А ничего. Только мяч. Его облик будил умы...
Нет и детей... Но один иногда, словно пленный
дух, проступает, с мячом, из густеющей тьмы.

IX

Славят вас, судьи, за то, что отказались от пыток
тщетных и долго не держите в кандалах.
Но, приземленные, лишь снисхожденья избыток
вам позволяет осилить страх,

жестокосердость врожденную: эшафоты —
только игрушки былые — брошены в срок...
О, по-иному в того, кто и чист и широк
сердцем, грядет божество настоящей заботы,

подлинной милости — словно втекает подспудно,
самозабвенно сияя. Оно —
больше, чем ветер для волнолюбивого судна,

и упования не меньше, что в нас рождено,
точно дитя в молчаливой игре, неприлюдно —
плод бесконечных стечений, бессмертья зерно.

X

Всем достижениям машина грозит — уничтожит
их, лишь воспрянет она, быть в послушанье устав,
духом: божественных рук трепет играющий сложит
и подытожит кремнем косным творенья состав.

Вспять не вернется, увы, *всех* нас гонящая, — в лоно
фабрики, в ту колыбель, где изначально спала, —
нет, как и жизнь, созидать станет она непреклонно
и разрушать, в слепоте блага не зная и зла...

Да, но пока этот мир зачарован — и сотней,
тысячью весей растет, подвигаем игрой
сил, чьи касанья тем явственней нам, чем бесплотней.

В невыразимое слов устремляется рой.
Музыка, вечно нова, из руин и зиянья
в хаосе строит твердыню Орфеева зданья.

XI

Часто и смерть, человек, невозмутимой природе ты подчиняешь своей, в травле сметлив и жесток — как, не силок или сеть даже, а в карстовом гроте мирно зависший — тебя ль я не узнаю! — платок.

Мерно спускают тебя в грот, вроде белого флага — вестника дружбы. Но вдруг резко тобою взмахнут, — и из ночной черноты выпорхнет к свету ватага бледных испуганных птиц... Но не по праву ли *тут*

это, где даже налета жалости мы не встречали; ждатель ли ее от стрелка: весь — только чуткость и слух, весь — только четкость и глаз?

*Знай же, убийство — лишь слепок странничьей
нашей печали...*

Чист и бестрепетный дух,
что посягает на нас.

XII

Жди превращенья. О, пусть увлечет тебя пламя: в нем, совершенствуясь, вещь уничтожает себя; сам созидающий дух, чертящий мир перед нами, зыбок, в изгибах фигур пункт поворотный любя.

Те, что в покое, мертвы — и уже погрешимы стали, хоть истиной их под окалиной мнят. Верь, нерушимое вновь сокрушат нерушимым — несуществующий молот подъят!

Тот, кто истек родником, познавая познание, им, вдохновенный, ведом по пути созиданья русла, что, в устье начавшись, стремится в исток.

Всякая радость — дитя изумленной разлуки: Дафна, воздев шелестящие листьями руки, жаждет, чтоб ты превратился в воздушный поток.

XIII

Разлука всегда впереди, но всегда и прежде
тебя, как зима, что грядет опять.
Пусть перечень зим утверждает тебя в надежде,
что и бесконечной зиме тебя не сковать, не взять.

И пусть в Эвридике ты мертв — позади разлука:
воспевший уводит ее в просветленный лад.
Будь звонким стеклом, не щадящим себя для звука, —
здесь, в царстве заката, на родине всех утрат.

Будь здесь, но при этом от сердца не прячь причину
его трепетанья — небытия личину,
дабы наполнить ею беглый свой взгляд полней.

Дабы затем, к бывшего глухонемому кладу,
к неисчислимой сумме — к природе, к ладу —
причислить свое число и радостно кануть в ней.

XIV

Погляди, как подходят цветы для земного призванья,
чья в сравнении с нашей нам мнится неглавную роль, —
но как знаты! Даже если знакома им боль увяданья,
может быть, лишь о нас эта боль.

Всё стремится парить. Но на всё это мы многотрудный
налагаем наш разум и бремя лелеем свое;
о, откуда ж такой у природы наставник занудный,
если радостно вечное детство ее?

Кто бы смог свои сны растворить в их глубоком покое,
в новый день вместе с ними из мрака втекаая легко, —
обновленный, о, им отдающий себя так легко! — и

восхваляли и пели б — и те, что цветут далеко, —
вновь прибывшего, вновь обращенного брата и друга
все немые собратья выюнками увитого луга.

XV

О, рот-источник, о, дарящий рот,
журчащий чистотою без конца,
ты — мраморная маска для лица
глаголящей воды. И разворот

мне виден акведука, с Апеннин,
мимо могил, с далеких склонов, где
родился он, несущего твой гимн,
спадающий затем по бороде,

черненной илом, в ковш, объятый сном,
как в мраморное ухо, ибо в нем
всегда и исчезает эта речь, —

в ухо земли. Да, лишь сама с собой
беседует земля. Ее любой
кувшин страшит — он может речь пресечь.

XVI

Ежечасно нами раздираем,
он — творец того, что нас целит.
Мы, безумцы, алчем — и не знаем.
Он — из щедрой ясности отлит.

И от искреннего приношенья
если он не отвратит лица,
то лишь в знак свободного решенья
стойко гибнуть до конца.

Только мертвый пьет
из земле *послушного* истока,
коль господь ему благостно кивнет.

Нам же вменены шум и суматоха.
И ягненок, в кротости немой,
колокольчик укоряет свой.

XVII

Где, в каких упоенных рососою садах, на каких тенистых
купинах, из каких благодатных соцветий чистых
вызревают плоды утешенья немого — те,
что на выжженной дольней поляне, в своей нищете,

ты находишь. И, подобрав, что ни раз сильнее
изумляешься их совершенству, величине плода,
шелковистости кожицы, мякоти сочной под нею
и тому, что на птиц лихоимство они тебе
не посетуют никогда —

и на черствость червя. Или есть сокровенные
кроны такие,
чья листва — серафимы, чьи корни питают стихии, —
и они нас, не будучи нашими, могут нести и растить?

Но способны ль дозреть мы — или, расцветая тенями,
увядаем, как призраки, и скоротечными нами
можно лишь равнодушие неспешного лета смутить?

XVIII

Танцовщица, превращенье
в легкую поступь всего, сколько в тебе щедрот!
Ты ль — в изначальном вихре древо круговращенья,
и на себе утетишь вновь торопливый год?

Разве не им расцветаешь ты, глубину покоя
вдруг от вершины до пят разбередив листвою?
Разве не ты — то солнце, что достаешь рукою,
и нескончаемый зной — не твой?

Ты плодоносно еще, древо экстаза:
разве немые дары твои мнимы — кувшин,
зрело округлый, и спеюще зыбкая ваза?

Разве мазки этих вмиг воплощенных картин
бровью твоей в них не вписаны сразу —
дерзкой дугой, выносящей тебя за притин?

ХІХ

Золото поселено в благодатную мглу
банка, поручено тысячам. Но только эти
нищие, только слепец этот медной монете —
словно приют, словно пыль под кроватью в углу.

Деньги, в теснинах витрин пребывая как дома,
рядятся мнимо то в шелк, то в гвоздики, то в мех.
Он лишь, безгласно стоящий пред ними, — истома
и передышка для них утомившихся всех.

О, как хотела б хоть на ночь сомкнуться рука
вечно раскрытая их, — но, очнувшись едва,
вновь в сокрушенье и звоне влачит свою участь убого, —
дабы в итоге доход и глядевший на них свысока,
вдруг изумясь, восхвалил. Лишь хвляющему служат слова.
И звенят лишь для бога.

ХХ

Где-то меж звезд, далеко — о, нет, значительно дальше —
здешнему учат. Взгляни:
это дитя... или друг... этот ближний... тот мальчик... —
разве близки все они?

Вот наш удел — на неслитые сущего пяди
мир поделен;
между мужчиной и девой, с опаской во взгляде,
сколько незримых препон!

Все далеки, и нигде не смыкается круг...
Но посмотри на лоток этот с рыбой — немые,
странно раскрытые рты.

Рыбы молчат, мы решили. А вдруг
есть те пределы вдали, где услышим *все мы* и
этот язык — немоты?

XXI

Пой, мое сердце, сады — те, что не видел мой глаз, — сказочность их, как в стекло помещенных и мнимых, — розы, что влагой поят Исфаган и Шираз, — пой их — и благодари их, ни с чем не сравнимых.

И расскажи им, что не забывало о них ты никогда, что, как спелая смоква, таилось в тесных ветвях, отвечающих дрожью на милость тех ветерков, чей порыв и в тебе не утих.

И сторонись заблужденья, что страх и нужда здесь нам даны как ответ на решение: буду! — шелковой нитью ты в ткань вселено навсегда.

А уж в какую деталь ее — в эту ли, в ту... (Вот в чем тоска!..) Но почувствуй: причастное чуду, весь баснословный ковер ты держало в виду.

XXII

О, вопреки судьбе, наше могуче существованье: в парковых бьет ключах, — или как те мужи каменные, что кручи тяжких порталов выдерживают на плечах!

О, медный колокол, било чье непреклонно и каждодневно будней таранит срам. Или *одна*, в Карнаке, колонна — колонна, пережившая вечный храм.

Ибо гибнет лишнее, осыпая искры плоского желтого дня, — и, слепая от пыланья, их прах принимает тьма.

Но и зерна уходят в подзол безвестный. И возможно, пробег этих искр над бездной остается — как мысль, как игра ума.

XXIII

Позови меня, когда задачей
пред тобой стоит упорный час:
у него молящий взор собачий,
тотчас отвращаемый от нас,

только мы к нему протянем руку.
В этом ускользанье мы растем.
Но вольны — и обретем разлуку
с косным, лишь друг друга обретем.

Тщетно остановки и опоры
ищем, для былого слишком споры,
мы, а для небывшего стары.

Лишь условие славящего слова,
мы, увы, — и ветка и окова,
и услада гибельной игры.

XXIV

О, вечно новый порыв из податливой глины!
Первопроходцам никто не помог никогда,
но у счастливых морей все же росли города,
все же вино и вода наполняли кувшины.

Боги, и вас набросали мы — словно эскиз,
снова и снова стираемый пасмурным роком.
Но вы бессмертны — и мы можем вслушаться из
здесь в то, что нас слышит в итоге далеко.

Все мы — один материнско-отеческий род,
тысячелетья беременный будущим, кое
некогда всех нас, исчерпанных, перерастет.

Данники времени, доблесть безмерная — мы.
И только смерть знает, ведая — что мы такое,
верную прибыль свою, нас давая взаимы.

XXV

Слышишь, звенят первые грабли?
Вновь в обстоятельном такте течет
труд предвесенней земли — не ослабли
древние струны. Снова влечет

будущность — та, что тебе, как всегда,
кажется близкой, — но ты, уповая,
так новизну ее и никогда
не обретишь, ей себя отдавая.

Желть прошлогодней листвы вечерами
меркнет, тая подступающий зной.
Тайны примет управляют ветрами.

Лозы черны. Но сочнее чернеет,
в кучах навоза, сырой перегной.
Мир с каждым умершим часом юнеет.

XXVI

Как изумляет нас птичий клик —
вечный, впервой оглашающий поле!..
Вот детвора, играя на воле,
криками клик заглушила на миг.

Шум своеволья! В прорехи, пустоты
(птичий, что мы в сновидениях, там
цел и свободен) пространства, как в соты,
загнан ребячий пронзительный гам.

Горе нам, где мы! Удел наш убог —
реем на нитях, бумажные змеи,
с ветром смеяться стремясь и не смея,

треплемы им... Утешающий бог,
меру дай нашим крикливым реченьям,
слей их с очнувшимся лиры теченьем!

XXVII

Существует ли время упорное,
что и крепость сотрет в неприступных горах?
Это сердце, безмерно богам покорное,
Демиург сокрушит ли в прах?

Неужели мы столь боязливые,
как того хотелось судьбе?
Не сулящее ль, молчаливое
детство корнем дремлет в тебе?

Ах, лишь призраки преходящего
сквозь внимательного смотрящего
протекают, как зыбкий дым.

Так и мы летим, скоротечные.
Но внимают нам силы вечные.
Значит, тем мы угодны им.

XXVIII

Приди и длись — о, ты, почти ребенок,
добавь мгновенный штрих, поправь едва
созвездье танца, в чем наш голос звонок,
хоть преходящ, в чем шорох естества

он превосходит. Ведь звучанью скалы
послушны лишь, когда поет Орфей, —
а ты сама сей зов предугадала,
ликуя, и из памяти твоей

не канет ствол восторженного слуха.
И дол, где лира родила его,
ты ведала — неслыханное ухо.

Затем и искушала шаг упруго,
что знала: на благое торжество
прибудет друг — и ты увидишь друга.

XXIX

Тихий друг безбрежного, ты волен
множить даль дыханием, пойми!
С высоты суровых колоколен
зазвони собой — и накорми

эту мощь, для превращенья пищей
став. Как в скорбном опыте земном,
выйди в новь, пройдя сквозь пепелище.
Если воды горьки, будь вином.

В той Ночи — избыток тайн, и им
шлют свиданья смыслов нам такую
все преображающую весть,

что, и позабытый всем земным,
ты немой земле шепнешь: теку я,
беглой влаге вымолвишь: я есть.

ПРИМЕЧАНИЯ

«Сонеты к Орфею» Р.-М. Рильке (4 декабря 1875, Прага — 29 декабря 1926, Валь-Мон, Швейцария) — одна из неоспоримых вершин европейской лирики, приковывающая к себе деятельное внимание не только читателей и переводчиков, но и философов, занимающихся вопросами культуры. Проблематика этого произведения охватывает отношения цивилизации и культуры, жизни и творчества, жизни и смерти, творчества и бессмертия. В центре его — образ мифического фракийского певца Орфея, первотворца лирической (аполлонической, устроительной) гармонии, одного из немногих смертных, возвратившихся из царства мертвых, куда он, согласно легенде, спускался за тенью своей возлюбленной Эвридики. Хтонический образ Орфея, мыслившийся древними в ряду умирающих и воскресающих богов, породил религиозно-философское учение орфиков, был востребован мистикой раннего христианства и прочно вошел в контекст европейской, эллинистическо-христианской культуры, заключая в себе многие его важные смыслы. Образ Орфея лежит в основании рильковской *культуродицеи* — его, если можно так выразиться, «религии для художника»: профетическая, но отчетливо внехристианская этика «Дуинских элегий» обретает в нем своего рода «христианский» просвет.

«Сонеты к Орфею» были созданы Рильке между 2 и 23 февраля 1922 года в Швейцарии, в замке Мюзот — средневековой башне, перестроенной под жилой дом, предоставленной поэту как пристанище одним из его состоятельных почитателей. Толчком к созданию цикла (и одновременно завершению монументальных «Дуинских элегий», начатых еще в 1912 году) послужило впечатление от смерти девятнадцатилетней дочери знакомых поэта, музыкально одаренной девушки Веры Оукамы-Кнооп, умершей, вероятно, от лейкемии — той же болезни, которая позже прервет жизнь и самого Рильке. Мюзотский февраль 1922 года, в течение которого были закончены элегии и написаны пятьдесят пять сонетов цикла (книги «Сонеты к Орфею» и «Дуинские элегии» вышли в свет в 1923 году в лейпцигском издательстве «Insel»), стал для Рильке не только преодолением многолетнего творческого кризиса, вызванного мировой войной, но и вершиной его творчества.

Перевод выполнен по изданию: Rilke R.-M. *Sämtliche Werke*. Bd. 1—6. Frankfurt am Main — Wiesbaden, 1955—1966.

Полужирным выделены авторские примечания Рильке.

К части первой

II. *Бог певчий* — «singender Gott» («поющий бог»); словами «бог» и «господь» («der Gott» и «der Herr») в тексте цикла обозначается его адресат и герой Орфей.

X. Во второй строфе вспоминаются захоронения на известном древнем кладбище *Allyscamp* [Елисейские поля] близ Арля, о них речь идет также в «Записках Мальте Лауридса Бригге».

Репница — бабочка семейства белянок; в подлиннике — без детализации, «бабочка, мотылек» («der Falter»).

XI. *Всадник* — созвездия с таким названием не существует; комментаторы полагают, что Рильке имел в виду зодиакальное созвездие Стрельца, обозначавшееся в древности знаком Кентавра — получеловека-полуконя. В письме к Рильке от 12.05.1926 г. Марина Цветаева высказывает и свою «версию»: св. Георгий (Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. Изд. подгот. Константин Азадовский. СПб.: Акropolis, 1992, с. 65).

Схемамы невольны / верим — и

XII. *Схемамы воистину живем* — словом «схема» мы переводим здесь важный термин Рильке «фигура» («die Figur»), обозначающий некие внешние и очевидные, но по существу неподлинные связи между людьми, между человеком и окружающим миром — то, что, в отличие от усилий духовной жизни, поверхностно, неустойчиво, схематично и не дает человеку знания его настоящего места в мире.

XIV. *Божественных корней* — Рильке высказывает здесь догадку о том, что сами умершие — «боги, спящие при корнях» («Sind sie die Herrn, die bei den Wurzeln schlafen..?»).

XVI. Этот совет обращен к собаке. — Слова «бога нашего руку» [*meines Herrn Hand*] имеют отношение к Орфею, выступающему здесь как «бог» поэта. Поэт хотел бы вести эту руку, дабы она, ради его безграничной участливости и преданности, благословила собаку, которая, почти как Исаив, накинута на себя свою шкуру — лишь затем, чтобы в своем сердце приобщиться к непредназначенному ей наследию — ко всему человеческому, с его радостями и горестями.

XX. В сонете отразилось воспоминание о России, которую поэт посетил дважды — весной 1899 г. и летом 1900 г. В письме Лу Андреас-Саломе от 11.02.1922 г. Рильке пишет: «И представь себе... я сделал коня, помнишь ли ты того свободного, счастливого белого коня с колом, привязанным к его ноге, который однажды под вечер вылетел к нам навстречу на лугу возле Волги:

как же

я его сделал? Как мое «*Ex-voto*» [обет, клятва (*лат.*)] Орфею!» (Хольтузен Г.-Э. Райнер Мария Рильке, сам свидетельствующий о себе и своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Челябинск: Урал LTD, 1998, с. 70).

XXI. Маленькая весенняя песня явилась мне как «толкование» одной примечательной танцевальной музыки, которую я однажды слышал петой детьми на заутрене в маленькой монастырской церкви близ Ронды (в южной Испании). Дети, всё в такте танца, пели неизвестный мне текст под аккомпанемент треугольника и тамбурина.

Первая строка перевода русифицирована, в подлиннике: «Земля — словно ребенок, знающий стихи: много-много...» («Die Erde / ist wie ein Kind, das Gedichte weiss; / viele, o viele...»).

XXV. К Вере [Оукаме-Кнооп].

В письме к Марго Сиццо от 12.04.1923 г. Рильке писал: «Этот прекрасный ребенок, только что начавший танцевать и привлекавший внимание всех, кто ее тогда видел, своим врожденным, из души и тела идущим искусством движения и импровизации, — неожиданно объявила своей матери, что не может или не хочет больше танцевать...; ее тело (случилось это как раз на исходе детства) странно изменилось, не теряя своих прекрасных восточных очертаний, оно стало странно тяжелым и массивным... (что было уже началом того таинственного заболевания

желез, которое затем столь быстро повлекло за собой смерть)... В том времени, которое ей еще оставалось, Вера занималась музыкой, а под конец лишь рисовала — словно бы обещанный танец все еще выходил из нее: все тише и все дискретней...» (Хольтхузен Г.-Э. Указ. соч., с. 234).

К части второй

IV. Единорог был в старину, в Средние века, частым и повсеместным символом девственности: поэтому и утверждается, что, несуществующий для непосвященных, он *был*, едва отразившись, в «серебряном зеркале», которое молодая женщина держала перед ним (смотри: Гобелены XV столетия), и «в ней» — то есть во втором, столь же чистом, столь же сакральном зеркале.

В «Записках Мальте Лауридса Бригге» Рильке описывает шесть гобеленов XV века из замка Буссак (в настоящее время они находятся в музее Клуни в Париже), на которых изображены сцены общения со зверями, в том числе с единорогом — белым конем с одним большим рогом во лбу. На шестом гобелене девушка изображена с зеркалом: «И вот снова праздник, но никто не зван. Никого не ждут. Все — здесь. Все — навеки. ... Мы еще не видели ее усталой. Неужто она устала? Или просто поникла, оттого что тяжелое что-то держит в руке. ... Зеркало — вот что она держит. Смотри — она показывает единорогу его отражение» (Перевод Е. Суриц).

VI. Античная роза была «*eglantine*» [*фр.* дикая роза, цветок шиповника], красной и желтой [тех цветов, что происходят от пламени. Она цвела здесь, в Валлисе [кантон в Швейцарии], в отдельных садах.

VIII. Агнец (на картине), который говорит только посредством «говорящей полоски» [*нем.* das Spruchband — транспарант, употребляется также для обозначения фрагментов картин старых мастеров, содержащих вложенные в уста персонажей библейские изречения и т. п.]

Эгон фон Рильке (годы жизни неизвестны) — двоюродный брат поэта.

XI. Ссылаюсь на способ, каким по старинному охотничьему обычаю, распространенному в некоторых местах Карста [известковое плато в Словении и Хорватии] охотятся на необычных бледных голубей карстовых гротов, осторожно помещая в их пещеры подвешенные платки, которыми затем внезапно особым образом взмахивают, дабы спугнуть птиц из их подземных обиталищ и убить их при вынужденном вылете.

XV. Возможно, имеются в виду знаменитые «Уста истины» (Vossa della Verità) в римской церкви Санта Мариа ин Космедин.

XXVIII. Отмечено, что сонет навеян диалогом Поля Валери (1871 — 1945) «Душа и танец» (1921).

XXII. *Одна, в Карнаке, колонна* — имеется в виду, вероятно, колонна фараона Тахарки перед храмом Амона в Карнаке; Карнак Рильке посетил во время своего путешествия по Египту в 1911 г.

XXIII. К читателю.

XXV. Подобие весенней песенки детей из первой части сонетов [XXI].

XXVIII. К Вере.

XXIX. К одному другу Веры.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

(1)

«Что греческим мужам Елена?..»	6
Сентиментальное путешествие (1)	7
«Часы саксонского фарфора...»	11
«С безумным риском, хоть без толку...»	12
«Вспомним, Бозио, скифские тени...»	13
«Морозный Рыбинск не разбудит...»	14
Бабочка	15
«Белый лист, Гиацинтового тело...»	17
«Словно бы — в песочнице, под хвоей...»	18
Царскосельский вокзал	19
Казанское кладбище в Царском	20
Ангелы (Из Рильке)	21
Зверинец (Из Рильке)	
I. <i>Пантера</i>	22
II. <i>Попугай</i>	23
III. <i>Фламинго</i>	24
Святой Себастьян	
1. «Он мышцы разметал, как спящий...»	25
2. «Как на осу или занозу...»	26
Лютнист	27
Полуночный гость	28
«„На Корфу, милые, на Крит...“»	29
«Кругом — ничто. Лишь слово золотое...»	30
Три стихотворения	
1. «Бог сохраняет всё. А ты...»	31
2. «Как путник мыслит о ночлеге...»	32
3. «За морем Мраморным есть мраморное море...»	33
«Аквилон ли дышит в мехах, борей...»	34
Рождество	35
«Расправит ли крыло морозной чистоты...»	36

(2)

Домик в Саардаме

1. «„Голландия есть плоская страна“...»	38
2. «Дома, которым лет семьсот...»	39
3. «Широкой натурой бахвалься...»	40
4. «Литература — авантюра...»	41
5. «Нет, рана не была смертельной...»	42
6. «Не холст — волшебное окошко...»	43

Почти египетское лето

1. «Почти египетское лето...»	44
---	----

2. «Люциферически прекрасны...»	45
3. «Еще дадут, коли попросим...»	46
4. «Ночные мучили качели...»	47
5. «Гляди, мои ладони в глине...»	48
«Жара. Идешь — как будто в гору...»	49
«„И зде́мские кущи раздвину...“»	50
«Одинокий, себя именующий „Я“...»	51
«Жемчужная возня Буше и Фрагонара...»	52
Ботанический сад	53
(С арабского)	54
На закате тысячелетия	55
«Среди всеобщего безумия...»	56
Сентябрь	57
«Ну, выпей пива — полегчает...»	58

(3)

Сентиментальное путешествие (2)

Болонья

I. «С голубизной вливаются в стекло...»	60
II. «Пусть башни склонны падать — им упасть...»	60
III. «По вечерам здесь — карнавал и пир...»	61

Флоренция («Что мне до статуй косных — то толпой...»)	61
(Из Пиндемонти) («В Европе хорошо. В Италии — тем боле...»)	62

Рим

I. «Под серпантинном дьявольских колонн...»	62
II. «Из цезарей мне нравится один...»	63
III. «В рай не зайти, как в папские сады...»	63
IV. «И ночью здесь толпа, но заглушен...»	63

Равенна

I. «Всё время кажется, что море...»	64
II. «„Потому и пусты саркофаги...“»	64
III. «Ягненок льнет к Его ладони...»	65

Венеция («Подозреваю, что в раю...»)	65
Эпиграф («За день один соединить...»)	68

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ. СОНЕТЫ К ОРФЕЮ

Часть первая

I. «И дерево росло, одолевало...»	71
II. «Почти дитя, она произошла...»	71
III. «Лишь бог и мог. Но как, минутным, нам...»	72
IV. «Вы, о, нежнейшие, в том дуновенье...»	72
V. «Плиты могильной нет. И снова роза...»	73
VI. «Разве он здешний? Нет, в обе державы...»	73
VII. «Славить и петь! И, как медь из плавильни...»	74
VIII. «Потому так лира ценит плачи...»	74
IX. «Тот лишь, кто лиру вознес...»	75
X. «Вам, сберегаемым в сердце, привет...»	75
XI. «Погляди на звезды. Имена их...»	76
XII. «Благ тот дух, что всех нас принял в сети...»	76

XIII. «Яблоко, банан, крыжовник, грушу...»	77
XIV. «Бредем, держа цветы, плоды, лозу...»	77
XV. «Жду, предвкушая... Готов хоровод...»	78
XVI. «Ты одинок потому, что... Власть...»	78
XVII. «В недрах — старец, исток...»	79
XVIII. «Слышал ли новость, бог...»	79
XIX. «Мир этот, как облака...»	80
XX. «Какую в жертвенный твой огонь...»	80
XXI. «Снова с сенями и ласточкой сладу...»	81
XXII. «Пыль мы летящая...»	81
XXIII. «О, лишь когда полет...»	82
XXIV. «Дайте знак нам, боги великие: дружбы вашей...»	82
XXV. «О, только раз о тебе — той, которую знаю...»	83
XXVI. «И напоследок, божественный, голос твой сладок...»	83

Часть вторая

I. «О, дыханье, незримый стих!...»	84
II. «Так же, как мастер в сложный рисунок...»	84
III. «О, зеркала, вам еще не открыто...»	85
IV. «О, то был зверь, какому в мире быть...»	85
V. «Лепестковый мускул анемона...»	86
VI. «Ты, венценосная роза, в античном мире...»	86
VII. «Вам ли, цветы, не родня те прилежные руки...»	87
VIII. «Мало вас, милых друзей прошедшего детства...»	87
IX. «Славят вас, судьи, за то, что отказались от пыток...»	88
X. «Всем достижениям машина грозит — уничтожит...»	88
XI. «Часто и смерть, человек, невозмутимой природе...»	89
XII. «Жди превращения. О, пусть увлечет тебя пламя...»	89
XIII. «Разлука всегда впереди, но всегда и прежде...»	90
XIV. «Погляди, как подходят цветы для земного призванья...»	90
XV. «О, рот-источник, о, дарящий рот...»	91
XVI. «Ежечасно нами раздираем...»	91
XVII. «Где, в каких упоенных росой садах, на каких тенистых...»	92
XVIII. «Танцовщица, превращенье...»	92
XIX. «Золото поселено в благодатную мглу...»	93
XX. «Где-то меж звезд, далеко — о, нет, значительно дальше...»	93
XXI. Пой, мое сердце, сады — те, что не видел мой глаз...»	94
XXII. «О, вопреки судьбе, наше могуче...»	94
XXIII. «Позови меня, когда задачей...»	95
XXIV. «О, вечно новый порыв из податливой глины!...»	95
XXV. «Слышишь, звенят первые грабли?...»	96
XXVI. «Как изумляет нас птичий клик...»	96
XXVII. «Существует ли время упорное...»	97
XXVIII. «Приди и длись — о, ты, почти ребенок...»	97
XXIX. «Тихий друг безбрежного, ты волен...»	98

Примечания	99
------------	----

Алексей Пурин (род. в 1955 г.) —
стихотворец и эссеист, автор книг стихов
«Лыжня» (Л., 1987),

«Евразия и другие стихотворения
Алексея Пурина» (СПб., 1995),
«Апокрифы Феогнида»

(в сб. «Труды Феогнида», СПб., 1996),
«Созвездие Рыб» (СПб.—М., 1996),
«Архаика» (СПб., 1998;

Литературная премия «Честь и свобода»
санкт-петербургского отделения
Русского ПЕН-центра за 1999 г.)
и эссеистической книги «Воспоминания о Евтерпе»
(СПб., 1996; Санкт-петербургская литературная премия
«Северная Пальмира» за 1996 г.).

Произведения, вошедшие в книгу
«Сентиментальное путешествие»,
написаны в основном в 1996—1999 гг.
Перевод «Сонетов к Орфею» Р.-М. Рильке
выполнен в 1998—1999 гг.